Дж. Оруэлл - 1984

Глава 1.

Стоял холодный и ясный апрельский полдень. Уинстон Смит, уткнувшись подбородком в грудь в попытке спастись от пронизывающего ветра, ловко скользнул за стеклянные двери жилого комплекса Победы. Однако тоненькая струйка колючей песчаной пыли сумела-таки просочиться следом, змейкой увившись вкруг его ботинок.

Прихожая пропахла малоприятной комбинацией ароматов вареной капусты и старых половиков. В конце коридора красовался огромный (пожалуй, даже слишком огромный) цветной плакат. Его пришпилили прямо к стене. С него взирало попросту титаническое лицо. Оно было более метра шириной: лицо сорокапятилетнего красавчика, обладателя примечательных тяжелых усов цвета воронова крыла. Уинстон устремился к лестнице. Не стоило и пытаться воспользоваться лифтом. Даже в лучшие времена он работал не часто, сейчас же подача электричества в дневные часы и вовсе была урезана . Часть кампании по экономии средств в преддверии Недели Ненависти. Квартира располагалась семью пролетами выше. Уинстон, в свои тридцать девять страдающий от варикозной язвы над правой лодыжкой, едва ли не полз по ступеням, несколько раз останавливаясь отдышаться. На каждой лестничной площадке с плакатов, висящих против лифтовой шахты, на него пристально глазело то самое огромное лицо. Вообще этот плакат был из разряда тех картин, которые создают впечатление, будто изображенные глаза преследуют тебя, куда бы ты не направился. "БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ" - гласила надпись.

По квартире разносился сочный баритон, зачитывающий список цифр, как-то связанных с производством чугуна. Голос вылетал из продолговатой металлической пластинки, напоминающей тусклое зеркало. Она составляла поверхность одной из стен. Уинстон повернул ручку и голос ослаб, хотя слова были все еще различимы. Прибор (или телеэкран, как его называли) мог быть затемнен, но не было ни единого шанса полностью выключить его. Уинстон отошел к окну: небольшой, хрупкий силуэт, чахлость телосложения которого подчеркивал синий комбинезон - униформа партии. Волосы его были необычайно светлы, лицо выдавало сангвиника, кожа шелушилась от грубого мыла, тупых бритвенных лезвий и трескучих морозов зимы, которая, к счастью, подошла к концу.

Мир пронзал холодом даже сквозь захлопнутые ставни. Прямо за стеклом на улицах ветер собирал в маленькие вихри и закручивал в диком танце пыль и бумажные обрывки, и, хотя солнце щедро освещало город и небо давило лазурью, внизу, казалось, все потеряло свои краски. За исключением плакатов. Они были расклеены везде и всюду. Черноусая физиономия сверлила взглядом с каждого угла. Одна висела прямо на фасаде противоположного дома. "БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ" - вещала надпись, пока взор темных глаз пронзал насквозь все существо Уинстона. Внизу, над тротуаром лепился другой плакат с оторванным уголком. Трепыхаясь на ветру, он попеременно то открывал, то скрывал одинокое слово: АНГСОЦ. Вдалеке между крышами мелькнул вертолет. Резко спикировав, он завис на мгновение, подобно жирной мухе и снова и снова пожужжал прочь по ломаной траектории. То был полицейский патруль. Его главной задачей было подглядывание за гражданами через окна. Впрочем, патрулирование особого значения не имело. Значение имела лишь Полиция Мысли.

За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще бормотал что-то о выплавке чугуна и перевыполнении Девятого Трехлетнего Плана. Телеэкран был рассчитан одновременно на поглощение и передачу. Любой звук, произведенный Уинстоном, за исключением разве что очень тихого шепота, прибор перехватывал. Более того, до тех пор, пока он оставался в поле зрения этой металлической пластинки, его просматривали. И прослушивали. Разумеется, узнать о том, следят ли за ним в данную конкретную минуту, возможным не представлялось. О том, к кому и как часто подключается Полиция Мысли, можно было только гадать. Например, можно было предположить, что слежка за каждым ведется постоянно. Так или иначе, они могли подключиться к вам в любое время дня или ночи. Тебе приходилось жить лишь по привычке, которая переросла в некий инстинкт, допуская при этом, что каждый твой вздох может быть подслушан, а любое движение, не скрытое под покровом темноты - просмотренно.

Уинстон отвернулся от телеэкрана. Так было безопаснее, хотя ему было отлично известно, что на деле это ничего не меняло. Опознать человека со спины не составляло труда. В километре от Министерства Правды, где он работал, на фоне всеобъемлющего мрака и грязи возвышалось нечто сияющее белизной. Это был Лондон, главный город Взлетной полосы 1, третьей по плотности населения провинцией Океании. Уинстон думал о нем с непроизвольным отвращением. Он попытался воскресить в памяти хоть какие-нибудь детские воспоминания, которые сомгли бы напомнить ему, что Лондон всегда был таким. Эти безотрадные постапокалиптичные руины гниющих домов, отстроенных столетие назад и не сумевших перешагнуть рубеж веков, их укрепленные трухлявыми досками стены и усталые глазницы окон, затянутые веками из потемневшего картона, их рефленые крыши с ржавыми подтеками на старом металле и покосившиеся, словно пьянчужки, садовыми оградками - все это было всегда? И жалкие осколки того, что некогда было достопримечательностями, окутанные колышущимся в воздухе облаком гипсовой пыли, и розоватые стрелы иван-чая, устремившиеся в небо из-под кучек щебня, и огромный выжженный котлован, на котором уже робко приподнялась от земли группка лепящихся друг к другу деревянных хибарок, с виду больше напоминающих курятники - это тоже? Но все было тщетно - вспомнить он ничего не смог: от детства остались лишь жалкие урывки эпизодов, ярких, словно софиты, преимущественно лишенные всякого фона и, в большинстве своем, досадно туманных.

Министерство Правды - или Минправд, выражаясь на Новоязе (Новояз был официальным языком Океании в силу своей структуры и этимологии, см в приложениях) - разительно отличалось от других построек в зоне видимости. Громадная пирамидальная махина из белоснежного бетона, взмывающая уровень за уровнем к небу без малого на 300 метров - это выглядело действительно внушительно. С ракурса Уинстона можно было различить три партийных лозунга, изящно начертанных на белом фасаде:

ВОЙНА - ЭТО МИР

СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ - СИЛА

Министерство возвышалось над землей тремя тысячами кабинетов и идентично уходило под землю. Три его филиала были расбросаны по Лондону, представляя собой не менее грандиозное зрелище, чем главный офис. Таким образом визуально они полностью подавляли свое довольно-таки убогое окружение так, что с крыши Жилого Комплекса Победы можно было наблюдать сию "великолепную четверку" разом. Между ними был поделен весь правительственный аппарат. Министерство Правды, которое занималось новостями, развлечениями, образованием и изящными искусствами. Министерство Мира руководило войнами. Правопорядок обеспечивался Министерством Любви. И ответственность за экономические дела несло Министерство Изобилия. На Новоязе это звучало как Минправд, Минмир, Минлюб и Милблаг.

Штаб Министерства Любви вселял смутный страх. Окон в нем не было вовсе. Уинстон не бывал никогда не то, что внутри, но даже в радиусе полукилометра. Это место вообще исключало любую попытку вторжения, за исключением обращений по делам официального бизнеса. Но и тогда предстояло пробраться через лабиринт колючих ограждений под прицелом замаскированных пулеметных гнезд. Даже улочки, прилежащие к наружным оградам не на секунду не оставались без присмотра: бдительные сторожа с обезьяньими лицами патрулировали их, вооружившись увесистыми шарнирными дубинками.

Уинстон резко развернулся, отточенным приемом нацепив маску спокойного оптимизма, которое приличиствовало принимать в поле видимости телеэкрана. Он пересек комнату, очутился в крошечной кухонке. Покинув Министерство в полуденный час он пожертвовал предусмотренным в столовой обедом. Знал он и то, что из съестного на кухне остался лишь ломоть черного хлеба, который стоило приберечь на завтрак. Потому Уинстон снял с полки бултыль бесцветной жидкости с криво налепленной на нее простой белой этикеткой "Победный Джин". Он источал приторный, маслянистый запах, чем-то напоминающий сакэ. Уинстон почти до краев наполнил поилом чайную чашку и выпил с жадностью, как лекарство.

В то же мгновение его лицо побагровело и слезы покатились из глаз. Субстанция была подобна азотной кислоте. Более того, она оставляла стойкое послевкусие щедрого удара резиновой дубинкой в районе затылка. К счастью, жжение в желудке прекратилось почти сразу утихло и мир снова стал немного добрее. Уинстон вытянул сигарету, помеченную маркировкой "Победные Сигареты" и опрометчиво расположил ее вертикально. Табак тоненькой струйкой осыпался на пол. Со следующей сигаретой вышло более ловко. Он вернулся в гостиную и опустился на журнальный столик приставленный к левому краю телеэкрана. Он извлек из выдвижного ящика держатель для пера, бутылочку чернил и увесистую записную книжечку с красным корешком и обложкой "под мрамор". По некоторым причинам телеэкран в гостинной стоял в необычном положении. Стандартно он висел на дальней стене, где ему открывался обзор на всю комнату. В квартире Уинстона ему было отведено место на стене против окна. По одну его сторону существовала неглубокая ниша, в которой и сидел Уинстон, и которая, когда планировалась квартира, предназначалась под книжные полки. Но, сидя в углублении и откинувшись назад, Уинстон мог на время ускользать от вездесущего контоля телеэкрана. Конечно, его можно было услышать, но до тех пор, пока он оставался в нынешнем положении, проследить за ним было попросту невозможно. Это был один из положительных аспектов нестандартной планировки его комнаты, который позволял ему делать то, что не было предусмотрено.

Но это было вызвано также и книгой, которую он только что извлек из ящика. Это была удивительно красивая книга. Ее глянцевые страницы кремового цвета, слегка пожелтевшие от времени, свидетельствовала о том, что ее изготовили не менее чем сорок лет назад. Хотя он полагал, что она была гораздо старше. Он обнаружил ее в трущобном районе города, гразной и затертой, одиноко лежащей на каком-то давно не протиравшемся подоконнике и тотчас же был сражен непреодолимым желанием овладеть ею. Членам партии не полагалось заходить в обычные магазины (дабы не "иметь дела со свободным рынком", так это называлось), но это правило не блюлось так уж строго. Все таки там можно было найти массу полезных вещей, таких как шнурки, бритвенные лезвия, которые едва ли можно было добыть как-то по-другому. Поэтому Уинстон быстрым взглядом окинул улицу, сгреб книгу в руку и молча отдал за нее два с половиной доллара. Тогда оне еще не знал, почему купил ее и зачем она может ему понадобиться. С виноватым видом он пронес ее домой на дне портфеля. Приобретение этой вещицы было весьма компромитирующим, несмотря даже на то, что в ней не было написано ни строчки.

Уинстон собрался завести дневник. Вот зачем нужны были все эти приготовления. Вообще-то это не было противозаконным (не было ничего противозаконного до тех пор, пока что-либо не преступало какие-нибудь неписанные правила), но если бы подобные действия были бы замечены, это несомненно покаралось бы смертной казнью. Ну, в лучшем случае - двадцатью пятью годами на галерах. Уинстон закрепил наконечник в держателе и обезжирил. На самом деле перо как инструмент давно устарело и лишь крайне редко использовалось для подписей. Уинстон раздобыл его несмотря на все трудности просто потому, что чувствовал, что великолепная кремовая бумага заслуживает быть заполненной настоящим пером, а не оказаться оскверненной грубой чернильной ручкой. На самом деле он практически не владел навыком письма от руки. Обычно он все надиктовывал в специальный прибор, за исключением разве что совсем коротеньких записочек. Разумеется, в данном случае этим сервисом нельзя было воспользоваться. Уинстон окунул кончик пера в чернила и на секунду замер. Терпкая волна дрожи прошла сквозь него. Это был решительный шаг - притронутся к такой бумаге. Маленькими, неуклюжими буквами он начертал:

4 апреля, 1984

Он откинулся. Его охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он даже не был уверен, действительно ли сейчас 1984. Когда он был полностью уверен, что ему тридцать девять лет, было что-то в районе этого года. Или, по крайней мере, десятилетия. И он был уверен, что родился в 1944...ну, или в 1945. Сейчас было практически невозможно зафиксировать сколько-либо точную дату в пределах пары лет. Кто, внезапно подумал он, прочтет этот дневник? Будущее поколение. На мгновение его мысли закрутились около сомнительной даты на странице, затем глухо застыли на Новоязовском слове ДВОЕМЫСЛИЕ. Сначала масштаб того, за что он брался, приводило его в ступор. Как он может связаться с будущим? Это было просто немыслимо. Либо завтра не будет отличаться от сегодня (в этом случае его просто не услышат), либо оно поменяется, и его душевные метания безосновательны.

Какое-то время он сидел, глупо уставившись на бумагу остекленевшими глазами. Телеэкран вдруг заиграл пронзительный военный марш. Странно, но ему вдруг показалось, будто бьы он не только потерял власть над самовыражением, но даже забыл, что намеревался сказать. Он готовился к этому моменту последние несколько недель, и ни разу не задумывался о том, что кроме мужества может потребоваться что-то еще. Все должно было быть проще. Все, что оставалось сделать - это излить на бумагу нескончаемый беспокойный монолог, годами формировавшийся и дополнявшийся у него в голове. Сейчас, однако, даже этот источник иссяк. В добавок варикозная язва принялась невыносимо зудеть. Он постарался забыть о ней. Она всегда воспалялась, стоило лишь к ней притронуться. Время мчалось вперед. Он чувствовал лишь пустоту страниц под его руками, зуд кожи над лодыжкой, рев музыки и легкое опьянение, вызванное джином.

И тут он схватился за перо и зачиркал по страницам в сущей панике, не совсем, однако, сознавая, что происходит. Его крошечный но совершенно детский почерк взлетал и стремительно нырял под строки, бороздя просторы листа, мешая заглавные буквы со строчными. Порой он замирал, но тут же бросался на бумагу с удвоенным пылом:

"4 апреля, 1984. Тем вечером в кино. Исключительно военные фильмы. Прекрасный корабль, полный беженцев бомбят где-то в Средиземноморье. Зрители немало позабавились над попыткой массивного толстого мужчины сбежать вплавь от преследующего его вертолета, сначала показывали его барахтанья. В ареоле собственных брызг он напоминал разбушевавшуюся морскую свинку. Затем видели его под прицелом вертолетных орудий, затем в нем пробили сотни дыр и улегающиеся брызги вокруг него порозовели, и он тонул так быстро, что сквозь дыры насквозь протекала вода, публика, гогоча, кричала, когда он тонул. потом показывали спасательную шлюпку, полную детей, с вертолетом, зависшим над ней. там была средних лет женщина, должно быть, еврейка, сидевшая прямо на носу лодки с трехгодовалым мальчиком на руках. малыш в страхе верещал и прятал лицо у нее на груди, будто пытался зарыться в нее целиком, и женщина обвивала его руками и утешала его, хотя сама вся посинела от ужаса, все время прикрывала его собой так, как будто ее руки могли спасти его от пуль. затем вертолет скинул двадцатикилограммовую бомбу в самый центр, ужасающая вспышка - и лодка разлетелась вдребезги. еще был потрясающий кадр детской ручки, тянущейся все вверх и вверх и вверх, прямо вверх, и вертолет с камерой на носу, следующий за ней и зал взарвался бурными аплодисментами но женщина в верхних рядах вдруг подняла суматоху, принялась кричать это не должны были видеть дети они не правы, что показывают такое детям полиция вывела ее я не представлял что с ней сделали всем наплевать что говорят пролетарии типичная реакция пролетариев они никогда...

Уинстон в изнеможении отбросил перо. Его руки сводило спазмом. Он не знал, что сподвигло его выплеснуть весь этот поток мусора. Но странное дело: пока он изливал все накипевшее, совершенно новая мысль родилась у него в голове. Теперь он понял: все сложилось так из-за того случая. Именно после этого он завел дневник.

Это произошло тем утром в Министерстве, если так можно сказать. Все выглядело очень сомнительно.

В двенадцатом часу в Регистрационном отделе, где работал Уинстон, в качестве подготовки к Двум Минутам Ненависти из всех кабинетов вытаскивали стулья и составляли их в центре зала напротив главного телеэкрана. Пока Уинстон занимал свое место в среднем ряду, в комнату проникли двое людей. Он видел их раньше, но общаться им не доводилось. Первая - некая девушка. Он не раз встречал ее в коридорах. Уинстон не знал ее имени, но знал, что она работала в Отделе Беллетристики. Предположительно - он видел ее по локоть в машинном масле, орудующей гаечным ключом - она занималась некой работай, связанной с устройством одной из новеллоштамповочных машин. Она была бойкой девушкой лет двадцати-семи с густой копной волос и усыпанном веснушками лицом. Она двигалась легко и проворно. Узкая алая лента, эмблема Юношеской Антисексуальной Лиги, плотно опутывала ее талию в несколько оборотов поверх спецодежды, бесформенно спадавшей по ее бедрам. Она не понравилась Уинстону с первого взгляда. И он знал причину. Ей удалось сосредоточить в себе напряженную атмосферу хоккейных полей и бассейнов с ледяной водой, клуба путешествий и штаба чистоплотности. В общем-то почти все женщины отталкивающе действовали на Уинстона, особенно те, что были помоложе и посимпатичнее. Женщины, молодые женщины - чаще всего именно они были самыми фанатичными приверженцами Партии. Они продвигали лозунги, на добровольных основаниях собирали информацию, вынюхивали неверующих и сдавали их. А эта особенная девушка производила на него впечатление наиболее опасной из них. Однажды, столкнувшись в коридоре, она метнула на него мимолетный косой взгляд, который, казалось, пронзил его насквозь и на мгновение наводнил все его существо черным потоком липкого ужаса. Мысль о том, что она запросто может быть агентом Полиции Мысли, быстрее пули пронзила его разум. К сожалению, он не ошибся. До сих пор он ощущал невероятную неловкость и подавленность, в которой страх мешался со враждебностью, стоило ей лишь мелькнуть на горизонте.

Ее сопровождал мужчина по имени О'Брайен, член Внутренней Партии и занимал пост столь важный и обособленный, что Уинстон имел очень смутное представление о сфере деятельности этой должности, едва ли не опирающееся на догадки и домыслы. Мгновенная тишина повисла в зале, стоило только приблизиться членам Внутренней Партии в своих характерных черных комбинезонах. О'Брайен был крупным упитанным мужчиной с жирной шеей и грубым, карикатурно-зверским лицом. Несмотря на его жуткое появление, он, безусловно, очаровывал манерами. Он прибегал к небольшой хитрости: сдвигал очки на нос что делало его невероятно обворожительным, каким-то удивительно культурным. Этот жест был, в некотором роде, сравним с тем, каким аристократы девятнадцатого века предлагали воспользоваться их табакеркой. Уинстон видел О'Брайена, по меньшей мере, тысячу раз на протяжении многих лет. И почувствовал, что порядком устал от него, и не только потому, что его заинтриговал контраст между учтивостью О'Брайена и его явно бойцовским телосложением. Более того, он втайне полагал - или, вероятно, просто надеялся - что политическое православие О'Брайена было отнюдь не совершенно. Что-то в его лице положительно указывало на это. И снова, возможно, оно не было безупречно, то, что было написано у него на лице, но это с лихвой искупал ум. Но, во всяком случае, он имел вид человека, с которым можно поговорить, если придумать, как избежать надзора телеэкрана и оказаться наедине. Уинстон никогда не приложил ни малейшего усилия, чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку. Да и не было способов это осуществить. В эту минуту О'Брайен взглянул на наручные часы, удостоверился, что уже почти одиннадцать, и, видимо, решил остаться в Регистрационном Отделе до тех пор, пока не закончатся Две Минуты Нанависти. Он опустился в кресло в том же ряду, что и Уинстон. Их разделяла пара мест. Маленькая рыжеволосая девушка, которая соседствовала кабинетами с Уинстоном, устроилась между ними. Темноволосая девчужка сию же секунду примостилась у него за спиной.

В следующее же мгновение большой телеэкран в конце комнаты взорвался жуткой, отточенной речью, будто бы несколько чудовищных машин двигались без топлива, зубодробительной, действующей на нервы, подобно колючей щетине на внутренней стороне шеи. Ненависть началась.

Как и всегда, лицо Эммануэля Гольдштейна, Врага Людей, высветилось на телеэкране. Между рядами тут и там раздавалось шиканье. Низкорослая рыжеволосая девушка испустила визг. В нем тесно переплетались ужас и отвращение. Гольдштейн был изменником и скользким типом, давным-давно (как давно, никто не мог точно припомнить) известным как ведущая фигура Партии, стоящий едва ли не наравне с Большим Братом, и затем обратившийся к контрреволюционной деятельности. Ему был вынесен смертный приговор, до исполнения которого он чудом сбежал и таинственным образом исчез. Программа проведения Двух Минут Ненависти менялась изо дня в день, но пункт демонстрирования портрета Гольдштейна был ее гвоздем и потому - константой. Он был первородным изменником, раньше всех остальных привнесший в девственную чистоту партии семя порока. Последующие преступления против Партии, все измены, саботажи, ересь, отклонения были лишь побегами древа его учения. Неизвестно где, но он, несомненно, все еще жил и тайно воплощал его замысел: возможно, где-то за морем, под защитой его иностранных казначеев, возможно, даже в каком-нибудь таинственном неизведанном месте в Океании, как доносили слухи.

Диафрагма Уинстона сжалась. Он никогда не мог смотреть на лицо Гольдштейна без гремучей смеси мучительных эмоций. Лицо это было худощавым, с блекло подсвеченной наподобие нимба внушительной копной поседевших волос и маленькой козлиной бородкой - умное лицо с каким-то врожденным выражением презрения, с присущим старикам нелепым длинным тонким носом, на самом кончике которого сидели парные очки. Оно чем-то напоминало морду овцы, и голос, ко всему прочему, содержал в себе явно блеющие нотки. Гольдштейн избавился его обычным озлобленным выпадом от доктрины Партии - атакой настолько преувеличенной и извращенной, что даже ребенок был в состоянии понять это, и достаточно правдоподобной чтобы поселить в душе каждого тревожное чувство, терзающее сомнением, что люди, стоящие ниже них по карьерной лестнице, могут быть замешаны во всем этом. Он хулил Большого Брата, он осуждал диктатуру партии, он настаивал на немедленном заключении мира с Евразией, он защищал свободу речи, свободу Прессы, свободу собрания, свободу мысли, он сокрушался что революция обманута - и все эти резкие пространные речи, больше напоминающие пародию на привычный стиль Партийных ораторов, даже содержала Новоязовские слова. По сути, даже больше терминов Новояза, чем любой среднестатистический член Партии обычно употребляет повседневно. Все это время, дабы не возникало никаких сомнений относительно правдоподобности того, что болтал Гольдштейн, за его спиной в телеэкране маршировали бесчисленные орды Евразийской армии . Колонна за колонной - непрерывная череда мужских азиатских лиц, одинаковых, лишенных каких бы то ни было эмоций, которые подплывали к поверхности экрана и растворялись в нем. Растворялись, чтобы уступить место другому точно такому же лицу. Унылый ритмичный темп солдатских ботинок, мерно отбивающих мостовую, создавали необходимый фон блеющему голосу Гольдштейна.

Перед Ненавистью прошло тридцать секунд, неконтролируемые всплески ярости вырывались у доброй половины присутствующих в комнате. Самодовольное баранье лицо на экране и устрашающая мощь Евразийской армии прямо за ним - этого было слишком много, чтобы быть правдой; кроме того, любой взор или даже мысль Гольдштейна порождали страх и гнев по инерции. Гольдштейн был объектом ненависти более постоянной, чем даже Евразия или Восточная Азия. Ибо, когда Океания вела войну с одной из этих Держав, между ними, в целом, поддерживался мир. Но странным было вот что: хотя Гольдштейна многие люто ненавидели и презирали, хотя каждый день и тысячу раз на дню на платформах, по телеэкрану, в газетах, в книгах его теории опровергали, осмеивали, выставляли на всеобщее обозрение и суд, чтобы показать, каким жалким мусором они являлись - несмотря на все это, влияние Гольдштейна, казалось, не только не убывало, но и постоянно росло. Всегда у него находились все новые и новые последователи. Не проходило ни дня без того, чтобы шпионы и диверсанты, следующие данным им указаниям, не были разоблачены и пойманы Полицией Мысли. Он был главой огромного мрачного войска, целой подпольной сети, сверхцелью которой было свержение Государства. Братство - так окрестили эту организацию. Горожане шептались о некой ужасной книге, которая якобы представляла собой подробное собрание всей ереси, автором которой был Гольдштейн и которая распространялась повсеместно тут и там. У этой книги не было названия. Люди упоминали о ней, называя ее только КНИГА. Но такие "знания" были не более чем смутной молвой. Ни Братство, ни КНИГА не были в сфере обсуждения заурядного члена Партии, если существовала хоть малейшая возможность избежать этой темы.

Ненависть достигла апогея на второй минуте. Люди подскакивали на своих местах и надрывно кричали в попытке заглушить сводящий с ума блеющий голос, проникающий в пространство комнаты через телеэкран. Невысокая дама с волосами песочного цвета побагровела, захлопала губами, словно пойманная рыба. Краска залила даже суровое лицо О 'Брайона. Он сидел, вытянувшись в струнку на своем стуле, его мощная грудная клетка вздымалась и опадала так, будто он сдерживал нахлынувшее цунами. Темноволосая девочка , сидящая позади Уинстона, навзрыд закричала "Свинья! Свинья! Свинья!", подобрала вдруг тяжелый словарь Новояза и швырнула его в экран. Увесистый том стукнулся о нос Гольдштейна и отлетел; голос неумолимо звучал. В миг просветления Уинстон понял, что он тоже вопит, слившись с толпой и ожесточенно пинает каблуком ступеньку своего кресла. Две Минуты Ненависти тем и были ужасны, что никто не принуждал принимать в них участие; напротив, было невозможно побороть искушение и не присоединиться. В пределах тридцати секунд любое сопротивление всегда было бессмысленно. Невероятный по силе выброс страха и жажды мщения, желание убивать, пытать, ломать лица кувалодой - казалось, вся эта дикость осязаемыми потоками курсировала сквозь людскую массу подобно электрическому разряду, по собственной воле превращав некогда порядочных людей в гримасничавших визгливых психов. В добавок, буйство чувствовал каждый, ибо оно было абстрактно. Не направленная эмоция, которая перекидывалась от одного человека к другому, подобно пламени паяльной лампы. При этом Уинстон в какой-то момент вдруг воспылал ненавистью не к Гольдштейну, но наоборот - к Большому Брату, Партии и Полиции Мысли; в такие моменты его сердце остывало, погружалось в пучину одиночества, высмеивало ересь с экрана. В эти минуты он был единственным хранителем правды и здравомыслия в мире лжи и ненависти. В следующее мгновение ему казалось, что и он один из тех людей, которые свято верили во все то, о чем рассказывал им Гольдштейн. Еще момент - и его затаенная ненависть к Большому Брату превращалась в обожание, Большой Брат виделся недосягаемым, неуязвимым, бесстрашным защитником, вздымающимся, подобно горе, против азиатских орд, и Гольдштейн, вопреки его уединению, беспомощности и сомнительности самого факта его существования, казался неким коварным чародеем, способным мощью своего голоса уничтожить цивилизацию.

Порой даже казалось возможным переключить чью-либо ненависть с одного на другого силой мысли. Внезапно, приложив неимоверное усилие, вроде того, которое необходимо, чтобы оторваться от подушки и вырваться из когтей ночного кошмара, Уинстону удалось передать собственную ненависть к лицу на экране той самой темноволосой девочке за его спиной. Яркая, красивая галлюцинация пронзила его мозг. Он будет пороть ее до смерти резиновой дубинкой. Он свяжет ее и голой подвесит над костром и напичкает ее стрелами, как Святого Себастьяна. Он изнасилует ее и перережет ей горло в кульминационный момент. Дальше - лучше. Он понял, ПОЧЕМУ он ненавидел ее. Он ненавидел ее потому, что она была молода, хороша собой, невинна, потому, что он хотел бы переспать с ней и никогда не сделает этого, потому, что ее гибкий стан так и манил к себе, зазывал обвить его руками, как это делал мерзкий алый пояс, агрессивный символ целомудрия.

Ненависть достигла развязки. Голос Гольдштейна был уже совершенно не отличим от овечьего блеянья, и на миг его лицо преобразовалось в самую что ни на есть настоящую баранью морду. Это овечье лицо постепенно исчезло в фигуре узкоглазого солдата, который шел в наступление, огромный и устрашающий. Его пулемет грохотал и, казалось, выступал за пределы поверхности экрана так, что некоторые люди в первом ряду в страхе откинулись и вжались в спинки своих кресел. Но в тот же момент, вызвав глубокий синхронный вздох у всей собравшейся публики, угрожающая фигура растаяла в лице Большого Брата, черноволосого, черноусого, исходящего властью и таинственным, чарующим спокойствием. Лицо это было так огромно, что почти заполнило внушительных размеров экран. Никто не слышал, что сказал Большой Брат. Лишь несколько слов поддержки, вроде тех, что произносятся в пылу битвы, не различимые среди общей суматохи, но восстанавливающие уверенность только тем, что вообще были произнесены. После лицо Большого Брата померкло и исчезло так же неожиданно, как и появилось. Вместо него жирной прописью вырисовались три партийных слогана:

ВОЙНА - ЭТО МИР

СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ - СИЛА

Но лицо Большого Брата, казалось, все еще светилось на экране. Все взгляды были прикованы к монитору. Впечатление от произошедшего было слишком сильно, чтобы сразу забыть об этом. Маленькая дама с волосами песочного цвета спряталась за спинку своего кресла. Дрожащим голоском бормоча что-то вроде "Мой Спаситель!", она протянула руки к экрану. Затем спрятала лицо в ладонях. Очевидно, читала молитву.

В тот же момент целая толпа людей взорвала тишину, медленно, ритмично скандируя: "Б-Б!...Б-Б!" - снова и снова, очень медленно, делая долгие паузы между первой "Б" и второй - тяжелый, бормочущий звук, даже странно свирепый. Казалось, если прислушаться, то в сопровождении к этому звуку можно было различить шлепанье голых ног и биение там-тамов. Какое-то время они даже шли в ногу. То был припев, который часто слышали в минуты, когда накатывали ошеломляющие эмоции. Отчасти это был гимн, восхваляющий мудрость и величие Большого Брата. Но еще больше это скандирование напоминало самогипноз, намеренное приглушение сознания, усыпление разума ритмическим шумом. По всему телу Уинстона пробежал холодок. Две минуты ненависти не могли привести к массовому помешательству, но эти недочеловеки , скандировавшие: "Б-Б!...Б-Б!", вызывали в нем первобытный ужас. Конечно, он скандировал с остальными: иначе было нельзя. Скрыть свои чувства, контролировать выражение лица, делать то, что делают другие - это получалось инстинктивно. Но на секунду глаза ослушались его. И в этот самый момент случилось самое важное. Если, конечно, случилось.

Он мгновенно перехватил взгляд О'Брайена. Тот остановился. Он снял очки и снова нацепил их на нос характерным движением. На долю секунды их глаза встретились, и всю эту долю секунды Уинстон знал - да, он ЗНАЛ! - что О'Брайен думал о том же, о чем и он сам. В этом не могло быть сомнений. Как будто бы оба их разума открылись друг перед другом и мысли незамедлительно хлынули из одного в другой через их глаза. "Я с тобой," - казалось, О'Брайен хотел сказать именно это. "Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Я знаю все о твоем презрении, твоей ненависти, твоем отвращении. Но не волнуйся, я на твоей стороне!". Затем и эта искорка разума погасла и лицо О'Брайена снова приняло непроницаемое выражение.

Этим все и ограничилось. Уинстон уже не был уверен, случилось ли что-то или ему померещилось. Такие случаи никогда не оставляют зацепок. Но это помогло сохранить в нем веру, или надежду, что есть еще враги у партии. Возможно, слухи не так уж и безосновательны - возможно, Братство и впрямь существует! Не может быть, чтобы после этих бесконечных арестов , признаний и казней Братство оказалось мифом. Иной раз он верил в его существование, иной раз - нет. Не было никаких доказательств, совсем никаких, только мимолетный проблеск, который мог означать все, что угодно, либо же не значить решительно ничего, обрывки подслушанных разговоров и тусклые каракули на стенах в уборных, да еще однажды встреча двух незнакомцев, в едва заметном движении рук которых можно было усмотреть приветствие. Одни лишь догадки, вероятно, просто надуманные им самим. Он вернулся в свою кабинку, избегая взгляда О'Брайена. Едва ли он подумывал о том, чтобы продолжить сию мимолетную связь. Даже если бы он знал, как можно к этому прийти, это было бы невообразимо опасно. Обмен взглядами, длившийся не более секунды - вот и вся история. Но даже это было памятным событием для человека, обреченного на одиночество.

Уинстон встрепенулся, вытянулся в струнку. Срыгнул. Джин вновь напомнил о себе из недр желудка.

Глаза его вновь пробежали по странице. Он обнаружил, что, пока он был погружен в беспомощные размышления, рука его машинально что-то писала. И это было совсем не похоже на его прошлые неловкие, теснящие друг друга каракули. Его перо воодушевленно и страстно скользило по глянцевой поверхности, выводя размашистыми печатными буквицами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

снова и снова, заполнив уже добрую половину страницы.

Он не смог подавить приступ паники. Конечно, с тех пор как он завел дневник, написание этих исключительных слов не представлялось такой уж опасностью. Но все же он был на грани того, чтобы разорвать испорченные страницы и вовсе отказаться от своей затеи.

Он этого, однако, не сделал, потому что знал - это бесполезно. Напишет ли он ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА, нет ли - это все равно ни на что не повлияет. Полиция мысли так или иначе выйдет на него. Он совершил - и все равно совершил бы, даже если бы никогда не касался бумаги пером - абсолютное преступление, которое автоматически включало в себя все остальные. Преступление Мысли - так они его называли. Преступление Мысли - это не то, что можно было скрывать вечно. Ты можешь изворачиваться какое-то время, если повезет - несколько лет, но рано или поздно они все равно до тебя доберутся.

Забирали всегда по ночам. Стремительное пробуждение, грубая рука, трясущая твое плече, глаза заливает резкий свет, суровые лица кольцом свесились над твоей кроватью. В подавляющем большинстве случаев до суда дело не доводили, об аресте нигде не упоминалось. Люди просто исчезали, всегда - ночью. Твое имя изымалось из всех списков, любые упоминания обо всем, что ты когда-либо делал, стирались, само твое существование отрицалось и позже забывалось. Ты был упразднен, уничтожен: ИСПАРЕН, как было принято это называть.

На мгновение он поддался приступу истерики. Начал писать торопливыми каракулями:

они расстреляют меня мне все равно они выстрелят мне в затылок мне все равно долой большого брата они всегда простреливают затылок мне все равно долой большого брата...

Он откинулся в кресле. С легким чувством стыда отложил перо. В ту же секунду сильная дрожь охватила его. В дверь постучали.

Уже! Он затаился, в тщетной надежде, что, кто бы это ни был, он уйдет, не достучавшись с первого раза. Но нет, стук повторился. Медлить было нельзя. Его сердце бухало в ребра, словно в барабан, но его лицо наверняка осталось невозмутимым в силу привычки. Он поднялся и с трудом двинулся к двери.

Глава 2

Только взявшись за дверную ручку, Уинстон заметил, что оставил дневник раскрытым на столе. Предательская надпись ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА была повсюду, достаточно крупных, чтобы их можно было рассмотреть с другого конца комнаты. Невообразимая глупость. Но, даже будучи охваченным паникой, он понимал, что, захлопнув страницу, он запятнает влажными чернилами прекрасную кремовую бумагу. Этого никак нельзя было допустить.

Он набрал в легкие побольше воздуха и отворил дверь. Мгновенно теплая волна прокатилась по его телу. На пороге стояла бесцветная, помятая женщина со взъерошенной копной волос и морщинистым лицом.

"Ох, товарищ," - начала она ноющим голосом, - "Мне показалось, что вы пришли. Вы не могли бы зайти осмотреть нашу кухонную раковину. Она засорилась и..."

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не слишком положительно относилась к слову "миссис", полагалось называть всех товарищами - с некоторыми женщинами это, однако, не удавалось). Ей было около тридцати лет, но выглядела она куда старше. Создавалось впечатление, что в морщины на ее лице забилась пыль. Она повела Уинстона вниз по коридору. Этой любительской ремонтной работой он занимался едва ли не ежедневно. Жилой комплекс Победы был построен довольно давно, в далеком 1930 или около того, квартиры в нем были старыми и разваливались на запчасти. Штукатурка отслаивалась и осыпалась со стен и потолков, трубы лопались при каждых заморозках, крыша текла, стоило только выпасть снегу, отопительная система работала в полсилы, если ее и вовсе не выключали из соображений экономии. На ремонт, особенно которого ты не мог сделать сам, требовалось согласие высоких комиссий. Но на них надежды было мало, ведь даже с починкой разбитого окна они тянули уже года два.

"Конечно, если бы Том был дома..." - неуверенно сказала миссис Парсонс.

Квартира четы Парсонов была побольше, чем у Уинстона, и унылость ее была другого типа. Все вещи выглядели потрепанными и грязными, как будто сюда ворвалось какой-то большой кровожадный зверь. По полу был разбросан всевозможный спортивный инвентарь - хоккейные клюшки, боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, пара вывернутых наизнанку трусы, а на столе, среди гор немытой посуды, валялись мятые тетради. На стенах алые знамена Юношеской Лиги и Шпионов, а также полноразмерный портрет Большого Брата. Как и во всем доме, здесь пахло вареной капустой, но его перешибал крепкий запах пота, оставленный - это можно было понять с первого вдоха, хотя сложно было определить, как - человеком, которого в данный момент в помещении не было. В другой комнате кто-то на гребенке и кусочке туалетной бумаги пытался подыгрывать военному маршу, который доносился из телеэкрана.

"Это дети," - пояснила миссис Парсонс, метнув помутневший взгляд на дверь. "Они сегодня дома. И конечно..."

Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полна затхлой зеленоватой жижей, смердевшей похуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог работать руками и ненавидел наклоняться - из-за этого он всегда кашлял. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала.

"Конечно, если бы Том был дома, он бы в момент все прочистил," - сказала она. "Том ему нравится все в этом роде. У него золотые руки, у Тома."

Парсонс был коллегой Уинстона в Министерстве Правды. Это был толстый, но деятельный человек, поразительный глупец - сосредоточение слабоумного энтузиазма, один из тех преданных, безмолвно повинующихся трудяг, от которых Партия зависела едва ли не больше, чем от Полиции Мысли. Он крайне неохотно покинул ряды Юношеской Лиги когда ему было тридцать пять. А перед тем, как поступить туда, он умудрился пробыть в составе Шпионов на год дольше положенного. В Министерстве он занимал невысокий пост подчиненного. Это была должность, которая не требовала выдающихся умственных способностей. Зато он был одним из основных деятелей Спортивного Комитета и разных других комитетов, занимающихся организацией коллективных походов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих работ на добровольных началах. Он рассказывал о себе с тихой гордостью, между затяжками из трубки, что не пропустил в Общественном Центре ни единого вечера за последние четыре года. Всепоглощающий запах пота - как бы нечаянное свидетельство потрепавшей его жизни - сопровождал его повсюду и порою висел в воздухе еще долгое время после его ухода.

"У вас есть гаечный ключ?" - спросил Уинстон, возясь с гайкой на спае.

 "Гаечный," - сказала миссис Парсонс, становясь совсем уж безвольной. "Правда, не знаю. Может быть, дети..."

Раздался топот маленьких ботинок, еще раз скрипнула гребенка, и в гостинную ворвались дети.

Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с гримасой отвращения извлек из трубы клок волос, забившийся в трубу.. Потом как можно лучше отмыл пальцы холодной водой из под крана и вошел в другую комнату.

"Руки вверх!" - заорали на него диким голосом.

Симпатичный пухлощекий мальчишка лет девяти с суровым лицом вынырнул из-за стола и угрожающе навел на него игрушечный пистолет, а его сестра, младше его на пару лет, схожим жестом нацелилась палкой. Оба были в форме шпионов - синие шорты, серые рубашки и красные галстук. Уинстон поднял руки над головой, но с неприятным чувством, слишком уж агрессивно вел себя мальчик, будто это была вовсе не игра.

 "Ты изменник!" - завопил мальчик. "Ты преступник Мысли! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю, я тебя испарю, я отправлю тебя на соляные шахты!"

И они принялись скакать вокруг него, визжа: "Изменник!",

"Преступник Мысли!". Девочка подражала каждому движению брата. Это выглядело немного пугающе. Напоминало возню тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. Какая-то расчетливая жестокость пылала в глазах мальчика, явное желание ударить или пнуть его. И Уинстон знал, что, стоит мальчишке еще немного подрасти, и это придется ему по силам. И все-таки хорошо, что пистолет игрушечный, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс затравленно метался от Уинстона к детям и обратно.

В этой комнате было немного светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что в ее морщины действительно забилась пыль.

"Расшумелись." - сказала она. "Жутко огорчились, что мы не сходили посмотреть на висельника. Я слишком занята, а Том как всегда не вернется с работы вовремя".

"Почему нам нельзя посмотреть на повешенного?" - ревел мальчик надрывно.

"Хочу увидеть повешенного! Хочу увидеть повешенного!" - подхватила девочка. Она все еще прыгала вокруг.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке планируется публичная казнь евразийских пленных - военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда требовали, чтобы их повели смотреть.

Он простился с миссис Парсонс и направился к себе. Однако не успел он пройти по коридору и шести шагов, как что-то невыносимо больно хватило его затылку. Будто ткнули в шею раскаленным докрасна металлом. Он резко развернулся, но увидеть ему удалось лишь развязку истории: миссис Парсонс из последних сил тащила мальчишку за дверь, а он нагло запихивал в карман рогатку.

"Гольдштейн!" - взвопил мальчик, перед тем, как хлопнула дверь. Но больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного испуга на посеревшем лице матери.

Уинстон вернулся к себе, быстрее прежнего миновал телеэкран и снова уселся за стол, потирая затылок. Музыка из телеэкрана смолкла. Резкий и отрывистый военный голос с заметным удовольствием принялся описывать вооружение новой Плавающей Крепости, стоящей на рейде между Исландией и Фарерскими островами.

Что за ужасную, беспросветную жизнь влачит с такими детьми их бедная мать, подумал Уинстон. Год-другой - и они станут следить за ней днем и ночью, чтобы выявить признаки идейной непредрасположенности. Сейчас почти все дети были ужасны. И хуже всего было то, что именно такие организации, как Шпионы, постепенно превращали их в необузданных малолетних дикарей, у которых даже не возникало желания анализировать и искать недочеты в партийной системе. Напротив, они боготворили партию и превозносили все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, беготня с учебными огнестрелками, скандирование лозунгов, поддержание и продвижение культа Большого Брата - все это для ник была своего рода занятная игра. Из настраивали против чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, преступников Мысли.

Стало обычным делом, что родители боятся своих детей. И не с проста: ведь не проходило недели, чтобы "Таймс" не опубликовала заметку о том, как юный паршивец - "маленький герой", именно это выражение обычно употребляли в их адрес, - подслушал не предназначенный для его ушей разговор и самым честным образом донес на родителей в Полицию Мысли.

Боль от детской проказы утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, подумывая, что же еще можно написать в дневник. Вдруг его мысли сами собой вернулись к О'Брайену.

Сколько же лет назад? Лет наверное семь, - ему приснилось, что он пробирался в кромешной тьме по какой-то комнате. И кто-то сидевший сбоку говорил ему, пока тот мерил шагами помещение: "Мы должны встретиться там, где нет темноты". Это было сказано полушепотом, как бы невзначай, -- не приказ, просто фраза. Занимало то, что тогда, во сне, эти слова не произвели на него почти никакого впечатления. Лишь впоследствии они приобрели значительность. Было ли это до или после его первой встречи с О'Брайеном, он вспомнить не мог; когда именно узнал в том голосе голос О'Брайена -- тоже не мог припомнить. Так или иначе, у голоса появился обладатель. Там, во тьме, с ним беседовал О'Брайен.

Уинстон до сих пор не осознал - даже после того, как они переглянулись, не сумел понять, кто же для него О'Брайен - друг или враг. Да и не так уж это, казалось, важно. Их связали узы взаимопонимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. "Мы должны встретиться там, где нет темноты", -- сказал О'Брайен. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что это непременно сбудется - так или иначе.

Голос в телеэкране оборвался. Духоту комнаты заполнил звонкий, чарующий звук фанфар. Голос возобновился и снова заскрипел:

"Внимание! Внимание! Только что поступила срочная новость с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали значительную победу. Уполномочен объявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку". Жди неприятностей, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели суточная норма выдачи шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон вновь срыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя тоскливое, тянущее чувство. Телеэкран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об урезанной порции шоколада, объявил: "Тебе, Океания". Было положено встать по стойке смирно. Но Уинстон был недосягаем для неусыпного взгляда.

"Тебе, Океания" сменилась на легкую музыку. Держась к телеэкрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке глухим раскатистым басом разорвалась ракета. Теперь их сбрасывали на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю.

Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово АНГСОЦ. Ангсоц. Заповеди ангсоца. Новояз, двоемыслие, переменчивость прошлого. У него возникло такое чувство, как будто он один бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудовищ, и сам он тоже чудовище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя невообразимо. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть кто-то из живущих на его стороне? И как узнать, что власть партии не продлится вечно? В качестве ответа перед его глазами всплыли три лозунга на белом фасаде министерства правды:

ВОИНА - ЭТО МИР

СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ - СИЛА

Он выудил из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелким шрифтом были отчеканены те же слова, а на оборотной стороне - голова Большого Брата. Даже с монеты его взгляд неотрывно наблюдал за тобой. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках - повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и убаюкивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели - нигде нет спасения. Нет ничего личного, кроме нескольких кубических сантиметров серого вещества в черепе.